

Порто-Ленто. Куда уходит вода



Евгений Павлов

Евгений Павлов

Порто-Ленто. Куда уходит вода

Серия «Порто-Ленто», книга 1

<https://litres.ru/74477844>

SelfPub; 2026

Аннотация

Италия, 1956. После шторма на мысе находят мёртвого Тито Паради — старшего артели, человека, который держал город за руку. Несчастный случай, решают все.

Но почтальон Микеле запомнил: в его сжатом кулаке была тёмная земля и лиловый вереск. А на каменных скалах, где лежало тело, ничего не растёт.

В дело тихо вмешивается синьора Нора, чужачка из Милана с блокнотом и лупой. Она учит Микеле читать город иначе: по запаху базилика, по очереди за водой, по молчанию в баре.

Вместе они раскручивают клубок из телеграмм, расписок и каштановых человечков — и понимают, что в Порто-Ленто правда течёт, как вода: по записи, по очереди, из рук в руки.

Уютный детектив для медленного чтения об итальянской осени, которую невозможно забыть.

Содержание

Пролог	5
Глава 1	8
Глава 2	15
Глава 3	17
Глава 4	19
Интермеццо первое. О похоронах	21
Глава 5	23
Глава 6	30
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Евгений Павлов
Порто-Ленто.
Куда уходит вода

Пролог



Меня зовут Микеле, я почтальон. Вернее, был им тридцать один год, и все — в Порто-Ленто, и если вы никогда не слышали такого города, то всё правильно: он не на открытках, не на железной дороге, и автобус до него идёт столько, что за это время успеваешь передумать туда ехать. Наш берег — тот, что между Генуей и Специей, — весь в городах, про которые написаны книги; наш не в их числе. У нас просто жили люди, ходили в море, поливали террасы и умирали вовремя, — а раз так, то и писать вроде бы не о чем.

А я вот сел писать. Стар для этого: руки уже не те, что разбирали сорок тысяч писем в год. Но случилось так, что в мои руки пришёл чужой дневник, и пришла пора сказать правду о том, что случилось у нас осенью пятьдесят шестого года, — правду, которую мы тогда несли, как несут воду в гору: осторожно, по очереди, стараясь не расплескать.

Я не писатель, и это будет видно. Зато я почтальон, а это значит две вещи. Первая: я умею не читать чужого. Вторая: я умею помнить, кому что адресовано. Всё, что я расскажу дальше, я либо видел сам, либо слышал от тех, кто видел, — и всякий раз скажу, от кого слышал, потому что почтальон без адреса — не почтальон, а сплетник. Где я ошибусь — не судите строго: прошло тридцать один год, город переменялся, людей половина нет, а память, как наша вода, идёт, где хочет.

Ещё два слова, прежде чем начать. Не ищите в этой исто-

рии злодея — вы его не найдёте, я искал дольше вас. И не ждите, что в конце всё объяснится: объяснится всё, кроме главного, а главное в наших местах не объясняется, а поливается. Кто дочитает до конца — тот поймёт, что я имею в виду, и простит мне эту загадку.

Начнём с конца лета, с первого воскресенья сентября, когда уезжают летние, и город, проводив их, вздыхает, разгибается и становится снова нашим.

Глава 1

Первое воскресенье сентября у нас называется «воскресенье чемоданов». С утра на площади стоит автобус — один на весь город, и водитель его, Пепе, человек терпеливый, как все, кто имеет дело с летними, — и город выносит, везёт, подкатывает чемоданы, корзины, зонты, картонки с персиками, которым всё равно не доехать целыми. Летние уезжают, как приезжают, — шумно, с поцелуями, с обещаниями писать, — и к полудню от них остаются только следы сандалий на пыли да запах чужого мыла в комнатах, которые надо проветривать.

Я люблю этот день, хоть по нему и скучаю. Город весь год работает на чужих — кормит, возит, сдаёт, улыбается, — и только в это воскресенье получает себя обратно. К вечеру ставни закрываются иначе, разговоры на калате становятся длиннее, и старшина Дори впервые за лето садится за свой столик в «Moderno» не проверяя, не занято ли он гостями.

В то воскресенье уезжали все, кроме одной.



Синьора Нора жила в «Bellavista» у Ольги с июня — приезжала и прежде — сперва с мужем, а как его не стало, одна, — из Турина; женщина лет под шестьдесят, с блокнотом, с лупой и с манерой задавать вопросы, от которых человек сперва чувствует себя глупо, а потом умно. Она писала что-то про травы — я не уточнял, почтальону не положено; я видел только конверты, толстые, в университет. И вот, когда Ольга начала собирать ей вещи, синьора Нора сказала:

— Ольга, я остаюсь. Мне нужна эрика.

— Эрика, — повторила Ольга так, как повторяют слово, которое подозревают в шутке.

— Вереск. Он у вас цветёт в конце сентября. Я не уеду, не увидав, как цветёт ваш вереск.

Так и осталась. Город обсудил это за один вечер и решил, что женщина с головой: вереск у нас и впрямь стоит того, чтобы его ждать, а то, что его ждёт чужая, — только подтверждение.



Тем же вечером я видел Тито Паради — увидеть его в тот день было так же неизбежно, как автобус. Тито был старший в артели после Дори, человек обаятельный, как солнце, и заботливый, как полив: без спросу и насквозь. Он нёс два чемодана сразу, командовал погрузкой, кричал Пепе, что тот вечно трогается рано, хотя Пепе трогался по расписанию с незапамятных времён. Старухе Джакомине он сунул в трюм корзину с рыбой — «сыну в Геную, и не смей съесть сама, я проверю»; молодой Валерии, которая уезжала в учительницы, прокричал вслед, что в городе её просвирня, а здесь её дом. Все смеялись, все ему прощали: Тито был из тех, о ком говорят «у него руки злые, а сердце доброе», имея в виду, что он поможет всегда, но так, что ты три дня будешь помнить, как именно он помог.



А у фонтана стоял Момо. Момо был наш ремонтник — точил ножницы, чинил зонты, а в остальное время водил детей и носил мулам хлеб. Меня он тоже водил когда-то — я, кажется, из его последних детей. Дети в тот вечер висели на нём, как гроздь: у кого-то уезжал друг, у кого-то кузина, и Момо утешал их по очереди, показывая на ладони каштанового человечка с бородой из мха. К нему подвели и мула Донато — хозяин уезжал на неделю к сестре, и мул был мрачен. Момо выслушал его с серьёзным лицом, подержал за морду и дал хлеба.

— Он понимает, — сказал мне Момо. — У него друг уезжает. Мулы грустят, только не показывают, они гордые.

Город затихал. Я запирал почту, когда мимо прошла сеньора Нора — со своим блокнотом, уже по-зимнему неторопливая. Она остановилась, посмотрела на опустевшую площадь, на гору, где начинали дымить вечерние кухни, и сказала — не мне, а так, в воздух:

— Вот теперь видно, какой вы город.

И она была права, хоть и не знала ещё, насколько. А мы не знали вообще ничего: что через три недели весь этот вечер будет называться у нас «до случая», и что каждый, кто был на той площади, станет потом вспоминать его по камешку, как вспоминают последний тихий день перед бурей.

Глава 2

Недели две после отъезда летних синьора Нора ходила по горам с лупой и блокнотом, а я, когда выпадало, ходил с ней: почтальон знает тропы не хуже мулов, и мне было не в тягость. Так вышло, что однажды, на смотровом карнизе над гротом, я прочёл ей свою лекцию — единственную, какую умею, — про нашу землю.

Я показал ей сначала назад, на террасы. Террасы — это наши поля, ступени по горам, которые город держал веками: стенка, земля, стенка, земля. Земля там своя, особая — тёмная, мягкая, жирная; её носили на спинах, её берегли, как деньги, потому что она и была деньгами. На такой земле росло всё, что нас кормило, и рос вереск — эрика, по-синьорниному, — который в конце сентября вставал лиловым так, что горы дымились цветом. Возьмёшь горсть — прилипнет: земля там липкая, живая, всё к ней липнет, и она ко всему.

А потом я показал вперёд, на мыс. Мыс — это камень в море, и камень солёный. Там нет земли — там соль и лишайник. Соль держится на камне коркой, а лишайник — это такая жизнь, которая врастает в камень насмерть: его не отдерёшь и пальцем. И я сказал ей тогда фразу, которую она почему-то записала:

— Видите, синьора: на террасах всё налипает, а на мысе не налипает ничего. Человек, который полежит на тех скалах

хоть всю ночь, унесёт с собой соль и каменную пыль. А землю — не унесёт. Земля у нас только там, где её поливают.

Она посмотрела на меня тогда долго — теперь-то я понимаю, что она проверяла меня, как проверяют гири, — и сказала: «Хорошая лекция, Микеле. Запомню».

В субботу, двадцать второго, на почту пришёл Тито — с телеграммой.

Телеграммы у нас принимались торжественно: диктуешь вслух, по словам, я записываю, читаю назад, ты киваешь. Тито продиктовал адрес в Специи, какая-то фирма, «Аква» что-то — я не вслушивался, почтальону не положено, — а текст был короткий, и я помню его по буквам, потому что читал назад:

«ГОТОВ ПОДПИСАТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО».

— Всё? — спросил я.

— Всё, — сказал Тито. Он был в хорошем настроении, потрепал меня по плечу так, что у меня качнулся чернильный прибор, и сказал: — Пиши, Микеле, скоро в городе будет жить веселее.

Я подумал: продаёт лодку. Или покупает. С тем и выпустил его на площадь, где уже смеркалось, где пахло жареным и где город готовился к воскресенью, как готовился к тысяче воскресений до того. Город уже стоял одной ногой на краю — но шторм всегда выглядит погодой, пока не начнётся.

Глава 3

В ночь с воскресенья на понедельник пришла мареджата.

Мареджата — это наш южный шторм, и он не похож на северный ветер, который просто зол. Мареджата приходит из-за моря, долго раскачивается, и вода встаёт не волнами, а горой; говорят, в такую ночь море не бьёт в берег, а наступает на него. Город готовится к ней, как к осаде: лодки крепят вдвое, швартовы проверяет сам старшина, ставни закрывают до темноты, и после аве-мари на улицах не бывает никого — не потому что запрещено, а потому что незачем: в мареджату с морем не спорят и на него не смотрят, его пережидают. Я рассказываю это так подробно, чтобы вы поняли главное: в ту ночь наш город был закрыт, как шкатулка, и то, что случилось в нём, случилось в закрытой шкатулке.

Утром в понедельник, двадцать четвёртого сентября, без четверти семь, рыбак Нино, пошедший посмотреть швартовы, нашёл у грота Тито Пареди. Мёртвого.

Я прибежал среди первых — почтальон узнаёт всё раньше всех, так устроена работа. Тито лежал у подножия тропы, на камнях, спокойно, как лежат спящие, — куртка застёгнута на все пуговицы, руки сложены. Рядом стоял фонарь, артельный, такие висят у сарая, — погашенный. Доктор Маральди, когда пришёл, сказал, что смерть наступила вечером, что упал он со скал и что синяки — от скал; только я запомнил,

что он сказал это не сразу, а помявшись, и что синяки он называл странными. Но человеку, который тридцать лет лечил рыбаков и никогда не писал протоколов, было виднее, и слово его было словом города: несчастный случай. Шторм, темнота, тропа.

А я стоял и смотрел на правый кулак Тито. Он был сжат — так сжат, что разжать его не смогли сразу, — а в кулаке была земля. Тёмная, жирная. И в земле — лиловое.

Синьора Нора пришла позже, когда тело уже уносили. Она не стала подходить близко — чужим не ходят смотреть на мёртвых, у нас это знают даже дети, — но подошла ко мне и спросила тихо:

— Что у него было в руке, Микеле? Я видела, как несли.

— Земля, — сказал я. — И вереск.

Она промолчала. А я подумал тогда — и отогнал мысль, потому что думать такое было нельзя: на этих скалах земли нет. Здесь соль и лишайник. Здесь не налипает ничего.

В тот вечер город гасил свет рано. Ставни закрывались без стука, бережно, как закрывают в доме, где болен ребёнок. Мареджата ушла в море, а вода всё ещё ходила горой, и мол ворочался под ней, как ворочается человек, которому приснилось дурное.

Глава 4

Во вторник, двадцать пятого, на линию пришла телеграмма для Тито Пареди.

Я снял её сам, по словам, как положено: «ЖДЁМ ВАС ИЛИ ДОВЕРЕННОГО». Отправитель — та фирма из Специи. Я сложил бланк и долго смотрел на него, потому что у почтальона есть свои законы, и один из них строже прочих: письмо должно быть доставлено. А тут доставлять было некому.

У нас в таких случаях порядок простой и неписанный: почту умершего несут в дом, к старшим, и кладут на стол при свече; что с ней делать — решает семья. Семейей у Тито был брат. Но брат, как назло, куда-то запропастился: на похоронах его ждали, а пока телеграмма лежала у меня в сумке, и я носил её два дня, как носят камень, — и она тяжелела, клянусь, с каждым часом.

Вечером в «Moderno» Нино — тот самый, что нашёл Тито, и с тех пор ходивший человеком, причастным к важному, — сказал за стаканом то, что утром знала уже вся калата: касса артели не сходится. Не «украдена», заметьте, — у нас слова взвешивают: не сходится. Сколько, куда, когда — этого Нино не знал, а что не знает Нино, он домысливает, так что к полуночи город знал три версии, из которых правдивой не была ни одна. Я слушал это вполуха, а думал о телеграмме.

ме в сумке. «Готов подписать двадцать пятого». Наступило двадцать пятое. Ждут. «Или доверенного». Кого?

В среду синьора Нора попросила меня отвести её к гроту — «не на тропу, Микеле, просто посмотреть место».

Мы стояли на карнизе. Вода уже легла, камни снизу блестя, как ничего не бывало, и синьора Нора смотрела вниз и спрашивала меня точно, как спрашивают по бланку: где лежал, как лежал, куда смотрел, где фонарь.

— Куртка застёгнута, — сказал я. — Руки сложены. Фонарь рядом, стоит. Не валяется — стоит.

— Человек, который сорвался с тропы в шторм, — сказала она медленно, — лежит как попало, Микеле. Так лежат, когда лежать некому.

И тут я сказал это. Сам не знаю, как оно вырвалось, — наверное, два дня телеграмма в сумке тянула меня к языку.

— Его не уронили, синьора. Его принесли.

Она не ответила. Она только посмотрела на меня — долго, как смотрят на человека, который сам не понял, что сказал, — и кивнула. И я понял, что назад это слово уже не взять, и что теперь мы оба будем жить с ним, и что удобнее от этого не станет ни ей, ни мне.

Домой я шёл через площадь в час, когда зажигают фонари. Город был тихий и обычный, и мне было на него обидно: он держался за «несчастный случай», как утопающий за швартов, а я уже знал, что швартов этот — гнилой.

Интермеццо первое. О похоронах

Хоронить у нас умеют — не гордо сказать, а просто умеют, как умеют плести сети: сызмальства.

Когда в городе умирает свой, колокол бьёт не торопясь, и по числу ударов город знает, кого несут: мужчину, женщину, ребёнка. К дому выносят стол, на стол — свечу и хлеб; родня заказывает у пекаря хлеб сладкий, с изюмом, и раздают его после — чтобы горе было сладковатым, потому что совсем горькое горе не переживается. Моряков и старшин несут на плечах, сам шагом, вразвалку, как несут образ на праздник; женщины поют не громко; дети идут сзади и учатся — у нас не прячут от детей ни смерть, ни похороны, потому что город, который прячет смерть, забудет, как жить.

Чужих хоронить мы тоже умеем, но чужого несут нанятые люди, и шага того нет, и пекарь печёт обычный хлеб.

Я отслужил при этих похоронах почтальоном — носил телеграммы соболезнования, которых в те дни шло много, и каждую читал вслух старшим, потому что старшие у нас читают глазами медленно, а ушами быстро. И вот что я скажу, наблюдавший за нашими похоронами сызмальства: город по-настоящему виден не на свадьбе и не на празднике, а у гроба. Кто стоит где, кто плачет как, кто пришёл и кто не пришёл — это написано у нас точнее приходской книги, и читается без ошибок.

И только один раз за мои годы город хоронил иначе — так, что я до сих пор не знаю, на какой странице той книги это писать. Но до того было ещё далеко.

Глава 5

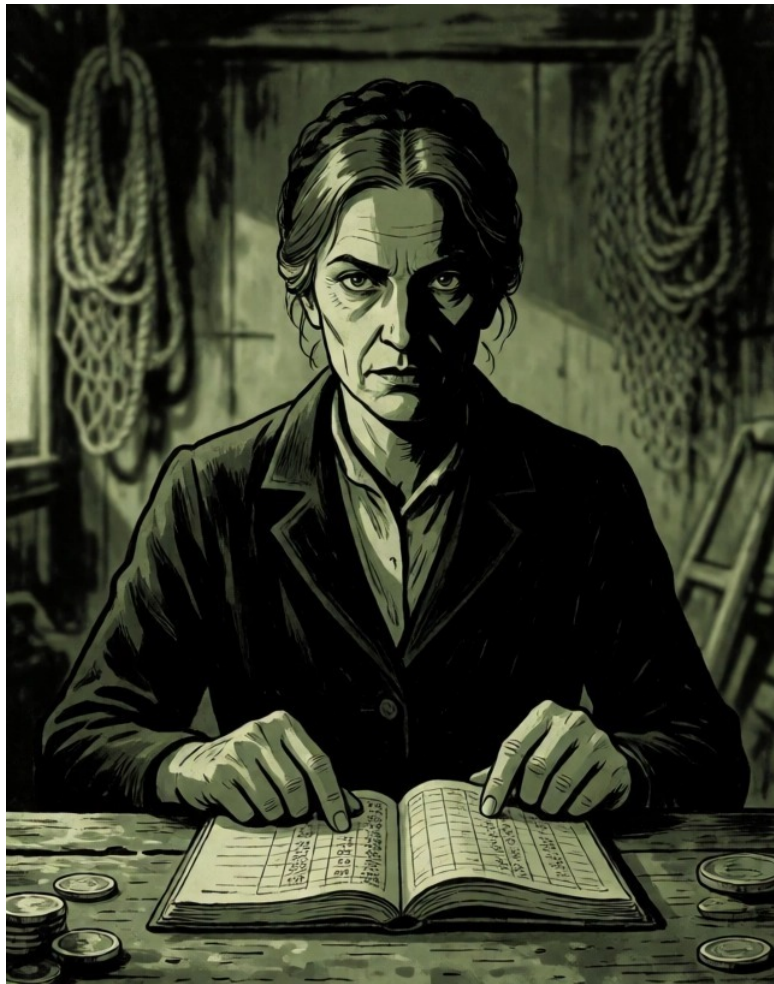
Хоронили Тито в четверг, двадцать седьмого, — по всем правилам, каких он заслуживал и больших не просил бы.

Несли его моряки на плечах; колокол отбил мужчину; пекарь испёк сладкого хлеба, и я помню, что хлеба было больше, чем ртов, — так бывает, когда у покойного нет семьи, а жалующих много. Синьора Нора стояла в стороне, чужая среди чужих, и смотрела — она умела смотреть так, что её не замечали, чему я потом у неё учился.

Ренцо на похоронах не было.



Я пишу это отдельной строкой, потому что город заметил это в один миг и в один миг обмолвился — и потом молчал долго, потому что объяснений не находилось. Брат. Механик артели. Человек, которого Тито вырастил, — мать их умерла рано, отца унесло морем, и Тито был Ренцо и отец, и старшина. Его не было. Говорили потом: уехал, говорили: не смог, говорили: заболел. Пина, которая знала всё, знала только, что в среду вечером у лодочного сарая стояли двое чужих и спрашивали Ренцо, — спрашивали вежливо, как спрашивают о задолжавшем.



А на кладбище, когда отошли от могилы, меня отвела в сторону Тереза — казначей артели, вдова, женщина, которая считала чужие деньги строже своих.

— Микеле, — сказала она. — Ты ходишь везде и слушаешь всё. Послушай и это, но молча. Касса текла всё лето. Не пропала — текла: по чуть-чуть, по записи, всё с расписками, Тито брал сам и сам расписывался, «на нужды артели». А нужд у артели, считай, и не было. Лодки заложены, Микеле. Две лодки. С зимы. Я молчала, потому что Дори сказал молчать: Тито вывезет, говорил Дори. Вот и вывез. — Она перекрестилась. — Теперь в субботу считать кассу при всех, и число встанет, и город спросит. Я тебя предупредила, потому что ты почтальон, и тебе спросят первому.

В пятницу я шёл с синьорой Норой мимо верхних террас и остановился, потому что поливали.



Полив у нас — зрелище, которое чужие принимают за праздник: вода идёт по каналу сверху, и хозяева стоят у своих меж с заступами, и вода входит на террасу и поит её ровно столько, сколько записано. А записано всё: у каждой террасы свой день и свой час, и очередь эту читает вслух старшина — в тот год её читал старый Баттиста, по книге, в которой страницы старше его самого. Вода не спрашивает, кто ты; вода слушает книгу.

— Красиво, — сказала синьора Нора. — И по какому праву, Микеле?

— По записи, — сказал я. — Источник записан. Верде — высокий источник — записан на Тито, на покойного. Он и давал воду артели и половине террас.

— Записан на покойного, — повторила она. — А теперь?

— Теперь на брата, — сказал я. — Или как решат старшие.

Она кивнула и долго смотрела, как вода входит под межу, — чужая женщина из большого города, где вода идёт из крана, а я видел, что она поняла главное: у нас вода — это не вода. У нас вода — это бумага, очередь и межа.

Вечером того дня я первый раз за неделю ел горячее с аппетитом — Ольга прислала мне с синьорой Норой тарелку трюфи, и мы ели на террасе «Bellavista», и молчали, и было хорошо. Горе у нас не отменяет ужина; горе у нас садится за стол и ест со всеми.

Глава 6

В пятницу, разбирая вечернюю почту, я вспомнил про телеграмму.

Не ту, что лежала недоставленной, — а первую, субботнюю. «ГОТОВ ПОДПИСАТЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО». Я рассказал о ней синьоре Норе в тот же вечер, и она слушала так, как слушают грозу за горами.

— Подписать, — сказала она. — Двадцать пятого. Тито умер за два дня до того, как был готов что-то подписать. И в день, когда его ждали подписать, фирма телеграфировала: ждём вас или доверенного. Что подписывают фирмам, Микеле?

— Бумаги, — сказал я. — Продажу, заём. Лодку, дом.

— Лодки заложены, — сказала синьора Нора, и я вздрогнул: слух о залоге дошёл и до неё, как доходит всё. — Дома у него не было своего — он жил в доме артели. Что ещё у человека есть, что можно подписать?

Здесь мне придётся вставить про деньги, потому что без них читатель моих дней не поймёт ни этой истории, ни вообще наших весов. Жалованье моё, почтальонское, было двадцать две тысячи лир в месяц, и я считался человеком с достатком: на эти деньги я жил, ел у Джино раз в неделю и откладывал. Телеграмма в Специю стоила шестьсот лир — то есть говорить проводами у нас могли позволить себе не про

погоду; телеграмма сама по себе была событием, и текст её запоминали, потому что он стоил, как обед. Касса артели — вся — была тысяч триста, не больше. Вот вам весы: двести тысяч лир, о которых пойдёт речь ниже, — это почти год моего жалованья, это половина лодки, это сумма, из-за которой у нас рушатся дома.

В субботу, двадцать девятого, артель считала кассу — при всех, как всегда в конце месяца. Считала Тереза, молча, при свидетелях, и не сошлось на двести тысяч.

Я не был в сарае — почтальону в артель нельзя, — но число вышло из сарая раньше, чем вышли пайщики, и к вечеру его знали все. Двести тысяч. «Брал с расписками», — говорила Тереза, и это было правдой, но расписки расписками, а число числом, и город, который неделю хоронил Тито как своего лучшего, теперь не знал, как его хоронил: как своего или как должника.



В тот же вечер Джованнини, приносивший мне марки, которых я не просил, принёс вместо марок слух — а слухи Джованнини носил так же аккуратно, как я письма. Слух был про Ренцо: что Ренцо «возит». Возит сигареты, без марки, из-за моря, на своём моторе, — и что у него на то и мотор новый, который стоит как половина дома, и откуда, спрашивается, у механика артели половина дома.

Я слушал и думал о другом. О столике в «Moderno», у окна, где всегда сидели братья Паради — Тито и Ренцо, вдвоём, после ужина. За неделю до смерти Тито они сидели там, как всегда, и не сказали друг другу ни слова. Я сам видел: двенадцать минут — я засёк по часам над стойкой, потому что тишина тех двоих была такая, что её было слышно через зал, — двенадцать минут они молчали, потом Тито встал, положил деньги и ушёл. О чём они молчали — этого не знал никто. А спросить уже было некого.

В субботу ночью я запираю почту и долго смотрел на пустой столик у окна в «Moderno». Месяц кончился, касса не сошлась, брат не пришёл на похороны, телеграмма ждала доставки, — и у меня было чувство, какое бывает на море, когда вода вдруг становится слишком гладкой: не покой, а передышка. Я тогда ещё не знал слова «следствие». А оно уже шло — тихое, босое, наше собственное.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.